

Моим нежным и мистично-непостижимым Иринам-Эриниям: М. и В. в память о том вечере, когда мы шли по ночному Томску и совершенно нечаянно я ощутил, что нами, из 1974 года манипулирует сидящий в дембельском чемодане Санта-Клаус.

« Palos, piedras, huesos rotos, bombas, tiros
y eso es todo
y puede que haya algo mas, debe haber algo mas,
dejame pensar.»*

«Vox Dei», En El Siglo XXI

«Когда-то, давным-давно, дети отправились в крестовый поход. И – затерялись на хрупких перекрёстках мироздания...»
Курт Воннегут, «Бойня номер пять, или крестовый поход детей».

«Его перебрасывает во времени рывками, и он не властен над тем, куда сейчас попадет...»
Источник утрачен.

1.

Неуютное, тягостное чувство абсолютной ирреальности происходящего возникло, когда лежа на койке в общаговской комнате и вороша страницы «Иностранной литературы», с романом Курта Воннегута «Бойня номер пять», Гриша Серёдкин, почувствовал – это всё про него. И про сумасшедшего горе-вояку американца. И про летающие тарелки с планеты Трафальмадор. И про возомнившего себя скитальцем сквозь времена помощника капеллана Билли Пилигрима, негероически сдавшегося в плен во время наступления

вермахта в Арденнах, а много позже попавшего в авиакатастрофу и перенесшего трепанацию черепа, после чего, собственно, и начались эти одновременные пребывания сразу в двух или трех временах. Да ладно бы просто ощутил, чересчур эмоционально сопереживая и не успевшему отслужить ни одного фронтового молебна Билли, и его товарищу по несчастью, шарящемуся с чайником по руинам разбомбленного Дрездена старикану Эдгару Дарби, а то ведь прямо-таки провалился туда – в этот весенний 1945-ый! В первозданную тишину его. В его пахнущий смесью гари, цветущих акаций и каштанов весеннюю гулкость.

Съезжая, как на салазках, с груди битого кирпича, гремя чайником, как потерявшийся бычок боталом, Гриша услышал шорох. Обернувшись, он увидел – ветер шевелил страничку – прокладку в лежащем поверх груди штукатурки фотоальбоме. Белая, как фата невесты, полупрозрачная калька. Черный бархат обложки. Он отставил чайник. Присел на обломок перевернутой скамьи (на таких сжигают молящиеся в католических соборах) и, развернув страничку, увидел молоденького, одетого в красивую эсесовскую форму паренька, в обнимку с двумя жизнерадостно смеющимися арийками. Не смотря на то, что фотография была любительской, мутноватой, отлично различимы были и тени от ресниц, и ямочки на щеках – у одной, и родинка возле губы у другой, и контрастный белый кант на форме, и уцепившийся в обрамленную лавровым венком свастику, раскинувший крылья орел на тулье фуражки. Совершенно неожиданно откуда-то донёсся звук органа. Из холмов и холмиков руин того, что высылось здесь ещё недавно в готическом великолепии, торчали напоминающие переломанные кости великана, обломки перекрытий. Сунув альбом за пазуху шинели, Серёдкин, обошел лежащего на боку каменного архангела с отбитым крылом, но с крепко сжимаемой в кулаке рукоятью меча, и, ступая по цветному крошеву витражных стекол, заглянул за курган рухнувшего храма. Посреди разобранной кирпичи возносился к небесам чудом уцелевший орган. За клавиатурой трудился седовласый старик. Отделка органа кой – где отвалилась. Но зато трубы и механизм для нагнетания воздуха были целы. Видимо, старинные меха и приводы помещались в подземелье и, не смотря на то, что оборвало проводку и электродвигатели, кто-то сидящий сейчас в подвале мог нагнетать в инструмент воздух вручную. Такие вот абсурдные мысли насчет конструкции устройств, являющихся в сновидениях, грезах и галлюцинациях вполне уместны: блуждающий в них не понимает того, что он грезит и, не обнаруживая у явившегося во сне работающего телевизора электрошнура, ведущего к розетке, – он недоумевает. Те же самые казусы на каждом шагу подстергали по причине стечения обстоятельств приобщившегося к путешествиям во времени Григория Серёдкина.

Блуждая по руинам готического собора, Гриша убедился, что уцелела и одна из опорных колонн с той частью алтаря, на которой видно было запорошенное осевойшей после взрыва пылью распятие. Христос возвышался на кресте над холмом из щебня. Старик играл «Дорическую», сидя на отшибленной, драконоподобной голове горгульи. Он наигрывал ту самую

предлюдию Баха, где басы перекатываются по трубам, Баха грома под небесами. Органист двигал руками и ногами. Ногам-то как раз и были подвластны «гromы». Руки же извлекали звуки, подобающие тем, что выдуваются из труб архангелов и флейт сатиров. Сбоку от старика, вскарабкавшись на выпавшую из недообвалившейся ниши в стене скульптуру евангелиста Матфея со свитком в руке, стояла девочка и перелистывала ноты.

Гришу, словно подбросило с койки: в девочке он узнал свою мать, вечно провозжающую и вечно ждущую мамочку! В разбухшем от фотографий семейном альбоме Серёдкиных был такой снимок – его мама совсем ребёнок, в костюме снежинки, с большеглазой куклой в руках, на фоне ёлки. Бросив журнал на смятую койку, Серёдкин подошёл к распахнутому окну. Выглянув, он увидел – из дверей научной библиотеки выходил тот самый молоденький эсесовец. Только не в кителе с повязкой и свастикой в кругу на рукаве, не в галифе и сияющих сапогах, а в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, в джинсах и сандалиях на босу ногу. Следом за ним на ступеньках «науки» образовались две арийки, практически ничем не отличающиеся от тех двух – в альбоме – такие же обворожительные хохотушки: две античных богини, живой мрамор молодых, сильных тел, едва прикрытых нижним бельем и легкими платьицами. Не самым приятным и даже шокирующим было то, что в белобрисом немце Гриша узнал себя. Удивило его и другое: двумя подружками немецкого офицера оказались две Ирины – одногруппницы. Слово «группа» во всех этих прободаниях времени тоже, как видно, сыграло важную роль. На первом же после зачисления на филфак собрании, Григория избрали старостой. И тут же кто-то прилепил кличку: группенфюрер! Смех смехом, а получилось что-то вроде читанных в школе, в журнале «Юность», выданных в армии «А зорь», отснятых по Борису Васильеву: на одного старшину – дюжина девушек бойцов, среди которых кроме как на Бричкину с Комельковой и положиться-то не на кого при выполнении боевой задачи. «Можешь на нас положиться!» – синяя васильковыми радужками, уверяли Григория Ирины – первокурсницы. Это, стало быть, если деканату будет нужен отчет о стенгазете, капустнике и других общественно-полезных затеях. Знал бы он заранее-какой смысл обретёт коварное словечко.

Прикрыв глаза, Гришка провел ладонью по лицу, словно желая избавиться от наваждения. Может, перезанимался? Экзамен на носу. Чтива – невпроворот. Вон Севка Уханов – спит себе, отвернувшись к стенке, – и ухом не ведет. А явится на

экзамены – все пятерки в зачетку соберет, будто он в тех снах со всеми классиками встречается и ведет с ними задушевные беседы. Когда Гриша вновь открыл глаза – он понял откуда этот дурманящий запах: акации!

2.

Да. Так, сводя с ума, могли пахнуть только белой акации гроздья душистые! К их тончайшему, как вкус долек апельсина в мороженом или крема на бисквите, аромату примешивались запахи роз и каштанов. Такие романсово-русские эти запахи помогали ощутить родство всего и вся, как и песни, врывавшиеся в приёмники во время поисков связистами нужной волны. Мажорная песенка про воскресенье – радостный день, оказалась копией распеваемого на всех волнах шлягера «Sonnen abends». Тем самым славянский выходной с бесконечными, кипящими побоищами жаждающих пенного, очередями к пивному ларькам приравнивался к солнечному германскому вечеру, когда благообразные немцы мирно припадали к пузатеньким кружкам в подвальчиках гаштетов. Самым высоким поощрением по службе, кроме «отпуска на Родину» были санкционированные начальством походы в Дрезденскую картинную галерею. По кайфу же к помывке в душе приравниваемому считалось побывать в зале с ню, где по стенам дразнились телесами фотографически выписанные кистью Энгра обнаженные. Другим кайфом эротического свойства были просмотры телеканалов, по которым транслировались как гэдзэровские, так и западногерманские теле-фаблио. В «ленинской комнате» стоял телевизор – и, отправив салаг драить и начищать, в компании с бюстом «дедушки Ленина» «деды» комментировали изыски германского юмора: муж в гараже пилит болванку в тисках, сосед то же самое делает за стенкой с его женой. Подобные ситуации и в полку связи были не редкостью. Прямо, словно бы «вылазили» из черно-белого телевизора с рожками комнатной антенны, чтобы обрести плоть и заиграть всеми красками. Герой-любовник капитан Чальников пользовался у поголовно замужних женщин популярностью Алена Делона времен «Фанфана-тюльпана». Гаражей, тисков, тискающихся по каптеркам командиров и их транзитных фронтовых подруг, как и «рашпиелей», – хватало. Впрочем, чтобы любая, кто с офицерами ходила, а затем и с солдатней гулять пошла – красноречивая гвардейская часть связи не могла припомнить. Тут царил строгая субординация.

Среди причуд, подбрасываемых Григорию преследующими его дежа вю была одна, которую он переживал и во снах,

и наяву особенно часто и мучительно. Случалось, окна выходящие на дрезденскую улицу, по которой бегали трамваи, становились интереснее телевизионных «декамеронов» в армейской «ленинской комнате», походов в Цвингер или разглядывания оставшихся от прежних хозяев превращённого в казармы старого замка полустёртых аллегорических изображений голотелых вакханок в предбаннике к помещению, переоборудованному под душевую. В окнах над вывеской гаштета, изображавшей кружку пива, со свисающей с края гроздью пены, что ни вечер творился бесплатный стриптиз. По смутным, доходящим до солдат сведениям, это было студенческое общежитие, в котором почему-то девушек было гораздо больше, чем парней. И вечерами девы юные показывали бесплатное «кино». Зная, что у спрятанных за высоким забором солдатиков практически нет шансов за ними приударить, белокурые бестии специально раздевались догола и разгуливали вдоль окон. Некоторые даже вставали на подоконник – и принимали позы картин Энгра. Потом они пошли дальше – завели кувшин, чтобы брать его на плечо – и стоять так застывшими «морскими фигурами». Это была инсталляция знаменитого, собирающего паломничества туристов полотна Энгра «Источник». Проказницы подглядывали за румянощёкими солдатиками во время экскурсий в Цвингер, непременно задерживавшихся у картин с ню. Иногда, какой-нибудь смельчак из солдатиков-гвардейцев, разжужжанный запахами расположенного в подвальчике общежития гаштета и самодеятельным стриптизом бесстыдниц перемахивал через забор – и в итоге был усмиряем в своих сексуальных притязаниях с помощью превращенной в гауптвахту «Тельмановки», тюрьмы, в которой, как говорили, сидел в ветхозаветные времена сам Эрнст Тельман.

Поступление Серёдкина на филфак Томского университета означало нечто вроде попадания по ту сторону окон переполненного юными фроляйнами общежития. Мучительным же и ужасающим было раздвоение. Два параллельно присутствующих времени, из которых его мотало туда-сюда, как каскадёра перепрыгивающего из кабины одной участвующей в сцене погони машины на подножку другой – и обратно, создавали столь тягостные состояния неуверенности в себе, что, оказавшись в общаговской комнате наедине со снившейся ему армейскими ночами ню, он панически боялся, что обнаженная истае, как дым, и он опять окажется в казарме, где сосед по койке трясет одеяло стиснувшим свое мучение кулаком. Спасаться он мог только тем, что представлял себя сержантом Тоськиным, который лунным волком от-

рывался в самоволки. Как только нани- зывалась на шпиль зазаборного собора полная луна – Тоськина начинало корёжить – он обрастал шерстью – и сиганув через забор, – по поросшему кустарником рву уходил в майсенские леса, где на лысых буграх собирались молоденькие ведьмы... Возвращался Тоськин из таких подлунных марш-бросков измазанный губной помадой, пахнувший духами и женщиной... Ему на полевую почту писала письма какая-то Магда из Магдебурга, с которой он совершил полёт наяву в магдебургских дебрях, неподалёку от полигона...

3.

Запах акации, помноженный на запах каштанов! В густом замесе с запахами раскаленной брусчатки, ружейного масла, колесной резины, дизельного топлива и гуталина они порождали неожиданно накатывающие волны тревожного чувства ностальгии. Примешивающиеся к этому «ершу» озоновые запахи радиоаппаратуры, фидеров и контактов обычные для войск связи, создавали тянущее ощущение вовлеченности в нечто, в чем ты лишь ведомый, увлекаемый куда-то фантом. Квант. Сгусток эфира. У тебя нет своей воли. Отсутствуют желания. Никогда не покидающее Григория фаталистичное чувство, что он принимает участие в том, где он лишь среднестатистическая единица живой силы и от него ничего не зависит, его угнетало. Ощущение ирреальности происходящего дополнялось и фантастичным перемещением из Новосибирска в Центр Европы, ежесекундным свидетельством чего был и вонзающий шпиль в небеса готический собор за скроенным из досок забором, и сверкающий золотом барочный Цвингер, и ню Энгра в золотом багете, и ангелочки у ног рафаэлевой мадонны. Однажды мадонна и в самом деле явилась – старлей Чальников влетел через КПП на мотоцикле. За его спиной, обхватив старлея алебастровыми руками, струилась по ветру фатой белоснежная невеста. В кирхе за забором играл орган. В части гуляли свадьбу. В тот день вся зареванная ходила жена прапорщика Крошкина, припухшие губы были у медсестры из «санбата» Наташи. Странно. Но в тот день, как до него дошло позже, Гриша опознал и в Чальникове – штурмбандфюрера с фотографии, а в его невесте и любовнице – всё тех же хорошеньких немочек из трофейного, привезённого отцом с войны, фотоальбома.

Не даром что-то тревожное шевельнулось у него в душе в тот пахнувший акациями и каштанами день. Это было если даже не предвидение, то предчувствие. Это было почти как тогда, когда он словно бы со стороны увидел себя туристом, снима-

ющим на видеокамеру то самое место, где ему доводилось ходить в караул на КПП. В каком времени это происходило – он не мог сориентироваться. Путешественник-американец прилетел в столицу Саксонии полюбоваться произведением архитектора-авангардиста – клином из стекла и железа, рассёкшим музей Бундесвера, чей фасад чуть ли не нависал над окнами казармы, в которой Григорию предстояло коротать ночи два года к ряду. Видеокамера запечатлела: сквозь переборки, расколосовшего, как клин чурку, авангардистско-архитектурного инородного тела, как сквозь решётки рыцарского забрала было видно то самое место, куда доставили Гришу осенним днём после путешествия от Новосибирска до Омска поездом, а затем самолетами через Москву до Гроссенхайна. Сквозь подобные решётки забрала во время рыцарского турнира некоего короля поразила отлетевшая от сломанного копыя щепка, ставшая орудием сбывшегося предсказания Нострадамуса. Именно тогда впервые ощутил себя Серёдкин вовлечённый в поток щепкой, уносимой водоворотом соринкой, которая годна лишь на то, чтобы сбывлись кем-то набормотанные бредни.

Кажется именно в том времени, но из снов предшествовавших десятилетиям он увидел себя сидящим за компьютером и на изумительно подробной спутниковой карте разглядывающим перекрёсток, на который выходил угол забора, обамляющего полк связи. Он обнаружил на этой сделанной из космоса фотографии и каре казарм (теперь там располагалось телевидение земли Саксонии), и прямоугольничек плаца, обращённый в зелёный газон со столиками под зонтами, и музей ННА, которому было возвращено историческое название музея Бундесвера, и даже некоторые из отбрасывающих тень всё тех же деревьев. А главное – в перекрестке двух улиц он узнал перекошенное, деформированное взрывом распятое, в одну из перекладин которого был вогнан пробивший её насквозь копьём легионера шпиль кирхи. Гвоздями для ладоней и ступней торчали там и сям пересекающие дорогу туристы. Но мученической фигуры в терновом венце и чуть прикрытыми лоскутом материи бёдрами – на том кресте не было. Бог ушёл в самоволку. Как утекли, растворились, истаяли бронетранспортёры связистов, на которых они, газуя и грохоча, рвались на простор танковых полигонов так, что вибрировали стёкла музея с собранным в нём железом давно минувшей войны, знобило экспонаты, потряхивало полотна на стенах Цвингера.

По ночам в замковой пустоте казармы возникали призраки. Это были едоки кар-

тофеля. Суть в том, что из наслаждений жизни спрятанным за забором пацанам оставалась лишь жареная картошка. Её запах вливался лунными ночами в казарму вместе с благоуханием акаций. Деды садились в кружок и, гремя ложками, как тролли каменными топорами, чавкали. Однажды Григорий попробовал и заведённой сержантом Коротченко в порожном огне-тушителе бражки из вишен, ворованных в притулившемся к забору части садике – его долго рвало и мучило, и он предпочел хлебать солдатский кисель, а раз в месяц, когда выдавали пфенежки, баловать себя лимонадом и печеньем.

4.

Вышагивая с АКМом на плече вдоль такого родного, крашеного зеленой «маскировочной» краской забора, о который временами гремели кирпичи, как-то не утолкавшиеся в стены как бы самого по себе регенерировавшего из руин города, Серёдкин представлял – как, однажды рухнув, все это опять слепляется, склеивается, цементируется, словно втекая в заранее приготовленную форму. Сотворить подобное могли только виденные героем Воннегута над разбомбленным Дрезденом инопланетяне, энлэонавты и прочие существа, обладающие волшебной силой. Седобрядый средневековый маг в нетронутым бомбежкой замке Майсена или Айзенаха призван был совершить колдовские манипуляции, прочесть заклинания – и столица Саксонии во всем великолепии должна была подняться из дымных клубов, падающих обломков, осыпей и оползней битого кирпича и штукатурки. Горбатый органист, вышедший, как Лазарь из гроба, из подвала, заваленного кусками контрфорсов и архитравов разбомбленного собора, должен был исполнить фугу Баха на уцелевшем органе – и храм – от паперти до шпиля просто обязан был восстать из руин, вставив в каждый витражный переплет соответствующее цветное стеклышко, в каждую нишу алтаря – скульптуру святого. Этот эффект часто используют, прокручивая военные хроники задом наперед, – и тогда обрушивающаяся стена, как по чьему-то мановению, собирается, поднимаясь из руин.

Экскурсия в торчащую за забором кирху для легионеров атеистической империи – это уж слишком. Такого замполит санкционировать никак не мог. Но, когда нам довелось помогать немцам таскать брусчатку для укладки на мосту через напоминающий заросший замковый ров лог, удалось увидеть и архангела с прилепленным на место крылом, и задумчивого, прячущегося в нише евангелиста -Матфея со свитком, и орган, и распятие, и скалящихся

гогулий с перепончатыми крыльями. Они свисали из – под карнизов на фасаде храма, готовые сорваться, распластать крылья и, обернувшись в органно-гулкие крылатые машины – бомбить, бомбить, бомбить.

В воскресенье, на Рождество и в день рождения Гитлера орган оживал. И стоя на посту или находясь в казарме, можно было выслушивать концерты, под стать филармоническим. Согласно уставным инструкциям – в случае, если какой-нибудь вернувшийся на култышке из России эсэсовец в сопровождении двух крепкотельных валькирии надумает совершить блицкриг на этот самый забор, Гриша, прежде чем передернуть затвор и стрельнуть, должен был сначала крикнуть «хальт вир да!», потом «ихх верде шиссен!» – и уж тогда только стрелять по недозамёрзшему в окопах под Сталинградом потомку Рихарда Вагнера. И хотя по инструкции же автомат был снят с предохранителя, Серёдкин сильно сомневался, что после всех этих разговоров на неродном языке ему удастся сделать хотя бы (опять -таки положенные по инструкции) предупредительные выстрелы. А уж, чтобы завалить немца, как кабана(запратанных в дремучих лесах лесах похожих на недобитых эсэсовцев вепрей пристреливали офицеры офицеры-«гэсэвзгэшники») об этом Григорий и не помышлял.

5.

Но Сейчас, в нарушение всех уставов оказавшись сразу в трех временах, Григорий Серёдкин, всё ещё разглядывал трофейный альбом, вглядывался в фигуры сворачивающих вдоль университетской ограды развеселой студенческой компашки – «группенфюрера» и двух девушек, направляющихся проветрится после библиотечной духоты, и в то же время, стоя у окна второго этажа казармы смотрел, как под вывеской питейного заведения вдоль фасада дома с островерхими мансардами, улыбаясь, и прикладываясь к бутылочке пива, шел тот самый молоденький немец с фотографии, обрамляемый с двух сторон стройноногими девами-дивами. Дуря от весенних запахов, Гриша, которому во исполнение наряда поручили мыть окна в казарме, обмакнул тряпку в ведро, но так и стоял, уставившись на юных фемин. Он ничего не мог с собой поделывать: они казались ему двумя ожившими фигурами виденной во время экскурсии в уольнении по городу картины, у которой он постеснялся долго задерживаться. Правда, у этих копий не было кувшинов на плечах. Но зато волосы лились по ветру, как струистая влага из энгровского источника. Когда же одна из девушек обернулась и, скалясь в хохоте,

показала ему безымянный палец, а «эссовец» расхохотался и, непристойничая, плеснул в его сторону пивной пеной из бутылки – Гриша, избегая обострения международных отношений, схватился за мокрую тряпку – и начал елозить ею по окну. Там, где он проводил по стеклу скрученной в жгут, словно пропитанной насквозь потом физподготовки поношенной гимнастёркой и где, струясь, стекала пузыристая пена, образовалось зеркальце – и он мог видеть, как удаляется вдоль ажурной общежитской ограды беззаботная троюза.

По улице мчался трамвай. Немец похожий на интеллигентного Геринга, чью фотографию Григорий видел в витрине музея во время увольнения, читал газету. Мамаша-немка толкала коляску с лялькой. Возможно, её соорудил сосед, пока муж трудился с распилом. Но это ничего не меняло в яркой освещенности «зонне-набенда». Громыкнуло – и Григорий уже сидел в ленинской комнате, карпея над дембельским альбомом.

Иногда он засыпал за этим занятием. Сон был проходом в другие временные туннели. Вдруг ему примерещивался ужас- он -бомба, падающая на Дрезден. Выпав тяжёлым оковалком из бомбового люка, он падал так, что захватывало дух, он валился вниз, пробивая кровлю кирпичи, чуть не задев стабилизатором спину органиста. Он весь сжимался от ужаса, он должен был взорваться, он чувствовал, как в голове нарастает раскалённый ком, как жмутся друг к другу от завывания воздушных струй в его зловещем оперении старики, женщины и дети в бесконечных подземных лабиринтах, как охватывает их катящийся по тоннелям испепеляющий, словно вырвавшийся из пастей сотен драконов, шквал, –и просыпался с криком. Через мгновение он попадал в другой сон, в котором он убегал от догоняющих его огненных вихрей, ревущих в небе крылатых машин, уворачиваясь от рушащихся на него обломков домов. Ему казалось – он ожившая горгулья, что его составленное из чешуинок-бомбардировщиков тело затмило небо, накрыло своими перепончатыми крыльями полмира – и оглушивающий гул был подобен гулу землетрясения. Это был Vox Dei* . Грозный, как громыхающее тысячами оборванных цепей Церберов Ада немецкое слово zerstört.

И вот он уже стоял в оглушительной тишине музейного зала и созерцал висящую над его головой оперённую стабилизатором «ляльку», а ниже витрину с бездвижными протезами ног, рук. Иногда ему снилось, что он и есть один из тех протезов во внутренне пустоте которых виднелись тяги, шарниры, шестерни...

Только много лет спустя, навсегда утратив свой дембельский альбом во время переездов из города в город столь не похожей на ухоженную Германию необъятной родины своей, Серёдкин, вспомнит про привезенный отцом с войны трофейный альбом. Только много позже, порываемая написать рассказ, но пресекая себя из-за явной банальности этой затеи, много раз возвращаясь в снах на одно и то же место, он стал постигать скрытый доতোле смысл мучительного дежавю, в котором он оказывался то действующим персонажем, то наблюдателем. Эссовец на фотографии, его подружки, старик-органист, девочка, архангел с мечом в карающей длани, евангелист Матфей то и дело возникали в его жизни в самых причудливых, порой ужасающих комбинациях. Другие преследовавшие его навязчивые образы -идеи образовывали какой-то до времени непонятный Григорию контрапункт, и чем больше он пытался угадать следующие вариации, тем это было невыносимее. Но больше всего его доставала заезженность крутившегося в голове, так и просящегося на бумагу сюжета: с некоторых пор Григорию чуть ли не в каждом литературном журнале попадались рассказы ровесников из «начинающих» о дембельских альбомах и чемоданах. Мнящие себя вторыми Хемингуэями и Ремарками дембеля, пёрли чемоданы, чемоданчики и чемоданища из ГСВГ, Польши, Чехословакии, Афгана, а позже и Чечни. Они пели, брэнча на гитарах с гэдэзровскими наклейками и автографами боевых товарищей, самовыражались в стихах и прозе – и в сюжетах этого фольклора дембельские альбом и чемодан занимали такое же почетное место, как черный тюльпан, цинковые гробы(не путать с цинками, в которых до поры хранятся патроны!) или батяня – комбат. В эпосе ветеранов советско-имперских оккупаций и войн этим артефактам воинственного мачизма отводилась примерно такая же важная роль, как в «Песне о Нибелунгах» – мечу и щиту Зикфрида, в «Слове о полку Игореве» – плачу Ярославны, а в «Персефале» – Чаше Грааля. И только Курт Воннегут, отступив от канона, ввел в дембельский обиход шизофреника с чайником, летающие тарелки и армейский идиотизм.

Вдруг, словно Гришу клюнул в темечко орел с эссовской тульи, он задался вопросом : а был ли найденный Серёдкиным-старшим в дрезденских руинах альбом – дембельский? Или фотография была вклеена в обычный, семейный? Серёдкина-младшего ни с того, ни с сего стали преследовать эти трое на фотографии –

молодежанки немец в форме эсэсовского лейтенанта и двое девушек. Отец хранил эту идеологически чуждую реликвию в трофейном альбоме, рядом с фотографиями, где он – браваый танкист в шлеме и с ППШ на груди обвешанной медалями в каких только ракурсах не был сфотографирован на фоне брони с надписями «За родину, за Сталина!», «На Берлин!».

Серёдкин прикрыл окно, вдавил в гнездо шпингалет, похожий на затвор от винтовки, с какой его папа начинал в снегах под Москвой. Закрывая окно, он ещё раз потрясающе явственно увидел в отражении двойного стекла стекающую с синевы белую пену акаций, трамвай, читающего газету очкарика-немца из тех, кто, не исключено, конструировал в бетонных бункерах на окраине Дрездена летающие тарелки, способные переноситься в пространстве и времени силою оккультных заклинаний.

– Ты чо усталился в собственное отражение! – услышал он голос Севки Уханова. – Хватит дуру гнать! Пошли в Лагерный Сад пить пиво! К зачету готовиться!

8.

Второй курс. Летняя сессия. Героический эпос. Заморочки лингвистики. А он взялся за читку этого подsunутого Севкой романа – и буквально перенёсся в армейские времена. Рисование дембельских альбомов было для Серёдкина спасением от рядов с утомительным выставлением у тумбочки, мытьём посуды на кухне. Подвал. Моечная машина. Неуничтожимые запахи порченных продуктов и каустика. Нескончаемые вороха алюминиевых тарелок. Едва надкусанные дедками-сержантами ломти черняги, выдраенные ложками салага до блеска алюминиевые

Чаши Граляя. Крышка котла с варевом – щит Зигфрида. Швабра с тряпкой – его меч. И только письма – сокровищами Нибелунгов. Правда, уже вскрытые по праву синьора – блюстителем нравственности прапорщиком Крошкиным. Когда Крошина не бывало в части(он мотался по хозяйственной части то за фасуемой бауэрами в аккуратные мешки картошкой, то за свининой, мясо с которой срезалось для домашних кастрюль «макаронников», а стеклянное, не лезущее в глотку варёное сало –отдавалось в солдатскую кухню), красавец Чальников запырался с его женой Ниной в медсанбате. И пока в клубе на десятый раз прокручивался банный эпизод «А зорь» и телесные достоинства ныряющих в клубы пара Камельковой и Бричкиной обсуждались «дедами» с таким же смакованием, как ню Энгра по возвращении из увольнения с щелканиями фотоаппаратом в обнимку с фроляйнами на фоне фонтанов

и скульптур, они там... В общем – тиски, болванка, рашпиль.

Альбомы продавались в специальных киосках для русских военнослужащих. И чемоданы тоже. И жевательная резина. И презервативы с усиками. И «Контарий» – капли для повышения потенции. (Хотя этого добра – потенции – и без того было в избытке). И переводки с красотками. И много ещё чего. Среди всего этого изобилия как-то под Рождество и увидел Серёдкин несущего караул в хрустально поблескивающей витрине Санта-Клауса. Белая борода. Колпачок. Хитрый прищур. Зипунчик с опушкой. И всё – цвета полкового знамени, при выставлении у которого смежались глаза, давил ремень автомата на плечо, нещадно рубило в сон, в фантазмагорические чертоги которого невозможно было въехать даже на быстроколёсном, напоминающем санки Санты, бэтээре. Тогда-то на свои 14 марок в месяц и купил Григорий Серёдкин картонный чемодан с пластиковой ручкой и никелированными застежками, несколько переводок, чтобы украсить его крышку, и куклу Санта-Клауса. Поднимаясь в казарму и усаживая бородачьего гнома в чемодан, Гриша понял – этот тролль – старикашка с румяными щеками и есть тот самый маг и тот самый органист, силами которого поднялся из руин разбомбленный американцами Дрезден. И как только он обзавёлся этим талисманом – ему стало легче. И на турнике тащить свои мослы и кости к недосыгаемой планке, и печатать на плацу шаг тяжеленными сапожницами, и бежать раздетому по пояс по утру, и нестись на БТРе в ночь крошешную на Брокен, где его ждали слетевшиеся на шабаш цветные ню Энгра, синевато-голубоватые телевизионные неверные арийские жены, юные общаговские немочки – бесстыдницы. Этот гарем дополняли Нина из медсанбата в белом халате на голое тело, славянки Камелькова и Бричкина с шайками и венниками и декламирующая Александра Блока суламифеподобная Ступак с намыленной мочалкой в руке и непременно волосатым шумеро-вавилонским клинышком под пулком.

Рисование альбомов превратилось в ритуал. Каждый шуршащий лист-прокладка (а в соответствии с законами дежа вю таковые имелись, как и в трофейном альбоме Серёдкина-старшего, так и в альбоме Серёдкина-младшего) становился чем-то чуть ли не куполом Сикстинской капеллы для Микельанжело. Походы строем, под строгим присмотром капитана Чальникова в Дрезденскую картинную галерею не прошли даром. Экскурсия в музей национальной народной армии (сокращенно это звучало -ННА с намеком на русское «Н-НА-КО ВЫКУСИ!»), где у входа встречал

тевтон в доспехе, а у выхода из под потолка на тебя пикировал настоящий «Мессер», где Гитлер с Евой Браун и Геббельс в кругу семьи являли собою вариации на тему эсесовца и двух его подружек, – раздвинули горизонт. Скрипучие фломастеры, пахучая тушь, вязкая гуашь, прозрачная акварель будили в Серёдкине вдохновение. Копируя через прозрачную бумагу, подрисовывая и подмалевывая, Григорий продвинул иконичку дембельских альбомов от примитивных виньеточно-пошленьких украшениям до уровня «Герники» Пикассо. В его миниатюрах в одной плоскости сталкивались мифические герои, исторические личности и абсолютно необходимые в соответствии с канонами жанра образы Защитника на Посту и Девушки Ждушей.

– А вот эти тётки с крыльями нашто трэба? – заглядывая через плечо казарменно-гэсэвэгшному Пирасмани, не дыша, спросил как-то заказчик сержант Коротченко.

– Это валькирии, уносившие героев с поля боя. – раздраженно буркнул Серёдкин.

– А! Вон оно шо! – понимающе выпустил все-таки воздух из могучей груди Алариха наших дней братишка-хохол. – Када на дембель пойду – буду знать шо дивчинам гутарить!

9.

Но сейчас-то, двадцать пять лет спустя после того, как декан выдал Серёдкину «поплавок» в синей коробочке и сдвоенную картонку диплома, после того, как он трижды женился, и трижды разведясь, сидел в темноватом кафе в каком-то параллельном главной магистрали университетского Томска улочке, словно проникнув ещё в одно время – четвертое, пятое или седьмое по счету, когда он смотрел и не мог насмотреться на двух уже вступивших в балъзаковский возраст женщин, отчего-то перед глазами опять всплыла та самая фотография. И вернулось ощущение, что он бродящий по разбомбленному города шизик, которого должны подобрать две инопланетянки-валькирии – и утащить на какую-то свою планету. И они подхватывали под локотки и вели.

– Ты чайник, чайник-то оставь! Да и альбом этот... Ни к чему они тебе...

Давно уже стало очевидным, что старик-органист из развалин и декан – одно лицо. Декан выходил на середину аудитории в главном корпусе, словно совершая ритуал. Он входил в зал, словно только что встав из-за органа, с помощью труб, клавишей и приводных механизмов которого он вёл разговор с богами, к которым и ушёл, как полагают, не попрощавшись,

не сказав что же будет дальше? А совсем недавно, мотанувшись из Новосибирска в Томск, Григорий обнаружил, что в органиста обратился Сева Уханов. Уже тронутые мохнатой сединой брови ученого-филина, ссутулённая спина, длинные тонкие пальцы с узловатыми костяшками и набухшие голубые вены на тыльной стороне ладони. Ноябрьский снегопад крылом архангела накрыл город студенческой юности, блеснул в темноте меч прозрения, Григорий ощутил, как спазм нахлынувшего волнения сдавил горло, словно ангел-мститель сжал рукоять, чтобы нанести последний удар. В лице стоящей над сумрачной перспективой улицы плохо различимой скульптуры проступил лик евангелиста Матфея. В эту грезу-реальность он влился, когда маршрутка переехала через мост – и он мог ступить на тротуар этого города-грёзы, как на облако.

Давно уж не было ни того картонного чемодана, на который он клеил переводки с их, как оказалось, портретами – две великолепных блондинки – одна почти что Анастасия Вертинская, вторая не то вылитая Барбара Брыльска, не то Елена Проклова. Давно уж не было того альбома, в котором оказались вклеенными их фотографии. Только теперь, глядя, как они cedят вино из бокалов, как щебечут, склоняясь друг к другу и прыскают смехом, как бывало на лекциях, поглядывая на него, пока он отходил покурить, он понял: это они, пользуясь неведомыми им девушками-одноклассницами из его юности, как медиумами, писали ему письма из этого будущего, видя его, нуждающегося в их теплом слове через мутную, малопрозрачную четвертьвековую толщу.

Это они – его одноклассницы, произведшие его наконец в «оберштурмбанфюреры», потому что всё равно получилось как в кино – и «баный чад» и «пот оград» и шайки, и веники, и бедра Камелковой, и перси Бричкиной, и библейские виноградники суламифистой Ступак, а потом ещё другие грозди – кислые, сладкие, наворачивающие слезу на глаза. А главное – зал с ню Энгра, взяв который штурмом вступительных экзаменов, Григорий приобщился к блаженствам шахидского рая. А те две взбалмашные одноклассницы, чьими руками водились по бумаге авторучки – они ведь в следующие же секунды уже ничего не помнили! Они, дойдя до почтовых ящиков и сбросив туда письма с адресом полевой почты, как ведомые неведомой им силой големы, шли на свидания с другими, выскакивали замуж, рожали детишек.

10.

Чего уж там эпического в возвращении солдата со службы! Особенно в «мирное время». И все же выход на дембель – это

рыцарский ритуал. Идеально возвращается из похода за частицами гроба Господня. Рыцарь должен воплотить в реальность грезы о Прекрасной Даме. Дама просто обязана бросить черную розу и послать идеальный воздушный поцелуй, даже если в этот момент ей, склонившейся из окна неприступного замка задрала платье. В общем всё, как в пошленьком сюжете, виденном на черно-белом экране по ту сторону погона с тремя лычками. Тиски. Болванка. Напильник. Но эта слесарная наука тут не при чём. Тут два года переписки. Тут гном-колдун в темноте чемодана листаящий фолиант альбома и с помощью каббалистических заклинаний манипулирующий живыми куклами. Тут возмужавший, повзрослевший, отупевший дурень со ступой своего дембельского чемодана, который прётся по адресам одноклассниц-зачочниц, Прекрасных Дам, Дульциней, гремит доспехом в прихожей, воняет одеколоном «Айвенго» и гуталином, сияет надраенной немислимо изогнутой пряжкой на ремне. Он жарко обсуждал с друзьями – брать или не брать, очень остроумно прозванные «сомиками» презервативы с усиками, каких в Союзе – днем с огнем. Он мучился, решая дилемму – тратить или не тратить пфенешки – на «Контарий», который поможет если вдруг после такой долгой паузы, а то и вообще отсутствия какого-либо боевого опыта, выйдет фиаско с ванькой-встанькой. Он идёт в тот самый магазин, где одна из офицерских жен – мучительниц его сновидений – изучает его стержовзным взглядом, он тычет пальцем в стекло, где лежат упаковки с противозачаточным. Он покупает экзотическую для начала семидесятых «жвачку». Телёнок с ковбойскими замашками, он, жуя, снимает в прихожей панцирь и кольчугу. Он готов возлечь со своей дамой сердца на ложе сладострастия, чтобы сорвать с девы-воительницы её запёртый на амбарный замок пояс девственности, но тут появляются Ветряные Мельницы, Великаны и прочая литературная хрень.

Нет ничего величественнее дембеля, с его чемоданом. И нет ничего трогательнее, ужаснее, и несчастнее этого Рыцаря Печального образа. Этого диссонирующего символа распадающейся империи, посланца для защиты тех, кто не нуждается в его опеке, этого незваного оккупанта-освободителя, чей освободительский пыл давно простыл, а для того, чтобы ему быть истинным оккупантом – бесцеремонным и циничным – метрополии не хватает материнской любви к одному из заблудших своих сыновей. Как он мог компенсировать этот арктически-леденящий холод? Он просил друга провезти в каблучке часы или привезти транзисторный приемник, чтобы

«толкнуть» его камерду и положить в чемодан гэдзэровские джинсы для девушки, чья фотография, в обрамлении рисованного иконостаса красовалась на первой странице магического фолианта, являя собою нечто вроде культа Девы Непорочной. Но обретенные в дальнем походе мощи святой Девушки Ждущей оставались при дембеле, а во дворце уже дурачились шуты, проказничали жонглёры и одноклассница – прелестница приглашала на свою свадьбу. Ну а письма? Так их же писала не она. Из ей надиктовали какие-то две колдуньи из будущего. Одиссей оказывался на свадьбе Пенелопы. Но не было Телемаха, чтобы натянуть лук, который повергнет в ужас женихов.

Сколь величествен и могущественен был Серёдкин, воцарившийся в общегагаллюцинации, столь же жалок и неадекватен был он, доставленный в родной город санпоездом. Что-то с ним произошло. Что – не помнил. Вроде, была ночная тревога. Вроде, он куда-то бежал. Вроде они куда-то наступали. Айзенах, Ютербог, Майсен. Вроде, сказали будут забрасывать десантом в Сирию. А может в Ливию. Хотя он был не уверен, что даже куда-нибудь в Саудовскую Аравию или Ирак. Он выходил в эфир. Он бежал с катушкой на КПП. Он шараялся от наезжающего танка. И вот он шагал с чемоданом в руке. Мама открыла двери. Да. Это была одна из тех – с фотографии, найденной в руинах. Отец обнял...

11.

Кафе назвалось «Один». В зависимости от удара оно превращалось в приют одиночества или место пиршества богов. Серёдкин остро ощущал, что он находится в Валгалле. И только отсюда – сквозь зеленое свечение, рядом с фантомами оживших фотографий, он увидел в темноте дембельского чемодана истинное лицо и истинное предназначение Санта-Клауса. Он узрел, что в зависимости от освещения у него может быть лицо отца, Гитлера, эсэсовца с фотографии, старика-органиста, декана. Да! Еще была девочка в драных чулочках, которая стояла на скульптуре евангелиста Матфея, как на подставке, и переворачивала ноты! Или даже две девочки! Так похоже на маму в детстве. Чемодан ему привезли в госпиталь. Он не успел дособрать его. Пустой чемодан. Санта-Клаус, будто новосёл в полупустой, не загромождённой мебелью квартире. Альбом. Сержант Коротченко сунул Григорю в руки фломастеры, гуашь, тушь.

– Це от рэбят. Свой-то альбом ты так и не дорисовал...

В самом, деле, замышляя изобразить на листах своего альбома еще более фило-

софскую аллегию, чем в растиражированных им по альбомах «дедов», он пока что успел перевести из старого «Огонька» лишь шаркающего стариковской походкой по возникающей у горизонта дорожке морщинистого Эйнштейна со скрипочкой в футляре, изобразить формулу $E=MC^2$, нарисовать рыцаря в латах, принцессу в замке, скопировать из томика Гете Фауста с Мефестофилом на одной странице и Фауста с Маргаритой – на другой. Ему хватило всё же «личного времени» наклеить фотографии двух писавших ему одноклассниц по бокам своей – в форме со значками и знаками связи – звездочка, крылышки молнии – в петлицах, в фуражке с кокардой. Рядом он перевел герб Дрездена: щит, лев с когтями, высунутым языком, хвостом, полосы. Дальше следовали пустые страницы. Их было много – больше половины.

13.

Это началось на учениях. Они давали связь генералу армии. Танки шли армадой. Самолеты летели тучей. Он ничего этого не видел. Он был прикован к этим гудящим и грохочущим во вне машинным проводами и радиоволнами. Санта-Клаус сидел в пустом тёмном чемодане, задвинутом под кровать казармы – и отдавал, отдавал команды, вычитывая их из зачитаного фолианта в кожаной тиснёной обложке с позеленевшими медными застёжками. Аппаратура мигала лампочками, захлебывалась бульканьем «засавской» связи. Трое суток он давал связь за сержанта Коротченко и по праву сеньора вскрывавшего конверты прапорщика Крохина, на четвертые, выглянув из люка бэтэра, он увидел, что они стоят посреди разбомбленного города.

Никого не было. Ни Коротченко. Ни прапорщика. Провода были оборваны. Гриша вылез из люка. И почувствовал страшную жажду. Кажется, это был какой-то город Аравийского полуострова. А, может быть, – долина Нила. У колёс валялся чайник. Без крышки. Он взял чайник за ручку – и слыша, как она поскрипывает в темноте, пошел. Двигаясь между куч щебня и груд искореженного железа, он увидел альбом. Наклонился. Поднял. Открыл. В альбоме была наклеена фотография – отец в танкистском шлеме – и две, похожие не то на Латынину, не то на Орлову, девушки. Интересное кино! Только сейчас Грише стало уже окончательно ясно – что его отец и тот эсэсовец – одно лицо. «Неужели он всё-таки участвовал в египетском походе вермахта?» – мелькнуло. Испытывая жажду, Гриня двинулся дальше. Кучи щебня не убывали. Да и что это за город? И что это за планета? Неужели Трафальмадор? И что это за грохот? И почему так холодно? Гриня поднялся на щебеночный холм – и перед

ним открылась панорама танкового сражения. Налетел светящийся вихрь. Завертел, потащил – и вот уже Серёдкин – в танке.

– Очнись, Серёдкин! – услышал он голос Санта-Клауса. – Вставили мы тебе пластмаску в череп – всё будет хорошо. А мог и вообще стать жертвой танкового сражения. В мирное-то время!

Он открыл глаза. Бородка у Санты была клынышком. Он напоминал бюст из ленинской комнаты, макушку прикрывал белоснежный колпачок госпитального эскулапа.

14.

– Не Серёдкин ты, а Селёдкин – собрались однажды все твои бабы, сами того не ведая, сели кружком за стол, выпили твою жизнь по рюмашечке из мерцающего графинчика, разрезали тебя на кусочки, закусили – и разлетелись каждая в свое время. А ты так и остался – пустым графином на столе – ошмётками селедочного скелета, ползущей по краю скатерти мухой...

Вот какие речи нашептывал старикашка в колпачке, сидя в недрах чемодана. Чемодан имел изнутри форму комнаты в аспирантском общежитии, называемом «Пятихатка». Они сидели за столом. Избавившийся от бороды Санта-Клаус, оказавшийся на поверку то ли молодым Эйнштейном, то ли Севой Ухановым и он – Григорий.

– Ты знаешь, когда в Челябинске ты стоял у монумента с танком в костюме жениха, а рядом с тобой такая нежная – белоснежная, я не даром подумал: переедет она его жизнь или нет? Переехала...

Ох, уж эти переезды из города в город. Ох, и помотало же его по шестой части. Жёны его рассосались по филармониям, школам, мэриям, а он, представитель второй древнейшей и вечно начинающий писатель превратился в вечного дембеля. То и дело он оказывался со своими – чемоданом, баулом, сумой перемётной у какого-нибудь порога – и тут-ту или фьють, с холодным «пока!» или даже гробовым молчанием в спину. Он «дембельнулся» от столькох подруг, жён и любовниц, что в банном чаду его памяти они составляли галерею куда более пространную, чем героическая рота героического старшины героически павших защитниц рубежей, одна из которых канула в трясине болота, другая была изрешечена пулями, третья получила осколок в живот и вместо блаженной радости материнства обрела покой в карельской тайге, и тело её размыкали под ёлками волки и лисицы. Когда-то, университетским первокурсником зубря латинские поговорки, он повторял как заклинание «Carthaginem delendam esse» * и только теперь до него стал доходить смысл этого

крылатого выражения древних римлян. Уже не колоннады и капители древнего города, не шпили и завитки рухнувшего под бомбёжкой Дрездена, а сам он был руиной, кучей цементной пыли, битого кирпича, обломков – кусок мраморного античного барельефа рядом с ещё освещивающим облезшей позолотой когтем имперского орла, пепел сгоревших книг, зола покоровившихся и истлевших в жаровне бомбёжки драгоценных ню с их кувшинами на плечах, розовыми персями, пылающими ланитами и стыдливо прикрываемыми ладошками венеринными холмиками... Дети? Две дочурки от разных браков, вполне походивших когда-то на ангелочков задумчиво оперевшихся локотками на облако на бесмертном шедевре Рафаэля, у которого он готов был выстаивать хоть вечность, но лейтенант торопил да и сержанта с пацанами тянуло к Энгру, порхнули крылышками, разлетелись. Сын так и не дождавшейся его Пенелопы стал не Телемахом, а нахалом, демонстрирующим полную неуважку к богемным происхождениям блудного отца.

С тех пор ему казалось, что на месте божественного лика Мадонны образовался какой-то плохо пропечённый оладий. От божества остались одни лишь пустые, развеваемые ветром одежды. Сама богиня – распалась на мириады мелких полубожков, манекенно-пластмассовых, экранных, журнальных и газетных картинок, превратилась в серое неразличимое месиво, испарилась.

Он уже не помнил – кому из Девушек Ждущих подарил он экзотический сувенир. Но однажды, заночевав у одной из комельковых-бричкиных, он поутру обнаружил Санту восседающим в своём спадающем набок шутовском малиновом колпачке, шубке и тирольских сапожках с оторочкой между полным блюдцем окурков и порожней бутылкой водки.

– Надь, я что-то не помню, чтобы дарил тебе Санту...

(В памяти застряло и ещё теплилось: как он ошастливил подарком Галину.)

– Это точно не ты, Гриш, это другой дембель из ГСВГ...

Ну да! – поежился он под одеялом, хотя всю ночь его согрела русская печь дородного женского тела. Представилось: словно по команде «на первый второй, рассчитайсь!» – до тех самых пор, пока не рухнула Берлинская стена, через одного, в СССР пёрли дембеля с Сантами, дембельскими альбомами, «Кантарием» и усатыми сомиками презервативов в чемоданах. Среди орудий соблазнения у героических возвращенцев была, конечно и жвачка. От батальной грандиозности этого конвейера стало как-то не по себе, Григорий счёл такой фестивально-вудстоковский напор

унижающим его неповторимую индивидуальность, но тут же смирился – дело то ведь прошлое. Где тот СССР с его Девушками Ждущими, Девушками Встречающими, Девушками с наслаждением жующими ароматную резинку?

Однажды, увидев себя в кривом зеркале бутылки вина, Серёдкин обнаружил – он и есть тот самый Санта – седенькая бородка, глазки улыбки, с осадком вселенской грусти на дне, Санта-Клавин. В ту пору он уже жил с печатавшей его никак не кончающийся, вечно меняющий заголовки роман машинисткой, носившей имя одного из римских императоров периода распада, мраморной, холодной, почти что каменной. А с тех пор, как на пиар-гонорар Григорий купил зимнюю шапку с оторочкой и мечту юности – дублёнку – он и вовсе осантаклавился. И когда въезжая из телечемодана в комнату с застольем и мерцающей гирляндами елкой на своих запряжённых в золоторогих оленей расписных санях, Санта, бухал к ногам свой мешок – они, роняя пень под копыта нетерпеливой тройки, пили шампанское на брудершафт, похожие, как близняшки, одного из которых на несколько десятков лет отправляли в экспедицию на Марс – проверить, а нет ли там чего-нибудь разбомбленного? – и что это там за окопы, кратеры, руины, полупирамиды и недосфинксы? Порой ему казалось, что по-античному монументальная, валькиреподобная Клава вовсе не «оператор компьютерного набора», а какой-то причудливый симбиоз Органиста с Девочкой, переворачивающей ноты. И что она не роман его печатает, а пересылает их души в эфир, чтобы, пока не кончился интернет-трафик, доставить их на Трафальмадор. И каждый сеанс связи с этой планетой сопряжён с перемещениями сгустков мерцающей плазмы. И им, уже утекающим, надо торопиться.

Зеленовато-светящаяся воронка летающим веретеном подхватывала Григория и переносила его в кафе «Один».

– А я знаю эту часть. Я ведь тут выходила замуж за одного офицера из училища связи – и уезжала с ним в Германию. Потом мы развелись! – сказала ты, разглядывая фотки замызанного фотоальбома с выцветшими, похожими на осыпавшиеся фрески картинками. Казармы. Плац. Кирха. Солдатики с офицерами. Музей ННА с экспонатами в виде «Тигра», «Пантеры» с опавшими «на полшестого» дулами, «Мессером» под задумчиво-мечтательным потолком, рыцарем у входа и упрямо делающим победной эрекцией веток «хайль» древним каштаном у выхода.

– Я всё это знаю. Мотоциклист, невеста – ангельскими крыльями за спиной...

– Откуда же ты можешь знать? То же было совсем другое время. Ты уехал из Томска в Челябинск. И это был не ты...

– Это всё же был я...

– Гриша!

– А время... Пойми, после того, как Дрезден был разбомблен, его накрыла колпаком зеленая светящаяся планета. И всё, что происходило под этим колпаком – порождения её сущности. Иначе невозможно было бы столь быстрое восстановление. Поэтому – всё, что там было – дома, люди, техника, русские и немцы – просто эманации этой сущности – её отпочковавшиеся густки...

15.

– Ты говоришь – отец рассказывал тебе, что перед тем, как застрелить выскочившего из «Тигра» танкиста, он увидел, как тот совершает заклинания над вытащенной из-за пазухи книгой? А в танке нашел непонятную чашу? Что эта чаша и старинная книга с готическими буквами и непонятными письменами были привезены им домой в качестве трофеев? Что ты как-то подслушал, как отец рассказывал матери – он почувствовал, что этот самый немец вселился в него? Иначе с чего бы ему вдруг заговорить на немецком? А ты не думал о том, что, понявший, что битва проиграна – хорошо знающий русский язык эсэсовец застрелил русского танкиста, пересел из «Тигра» в «тридцатьчетверку» и, взяв документы Серёдкина, развернулся против своих же? Так что вполне возможно ты сын того эсэсовца! И «Анербе» с его жуткими тайными ритуалами тут не при чем. И на фотографии – твой отец. А то, что он нашёл эту фотографию в разбомбленном Дрездене – легенда... Или так. Немецкий танкист из танковой дивизии «Мёртвая голова» произнёс заклятие, обеспечивающее реинкарнацию – и теперь – он часть вашей родовой кармы. В мистике действует закон взаимного притяжения. «Серёдкин» и «сердце» слова практически однокоренные. Может быть, у того немца была фамилия с корнем «херц»... Мин херц! И вообще... эсэсовцы ведь были членами оккультного ордена... Ведомо ли тебе, что среди веровавших в реинкарнацию эсэсовцев в конце войны происходили массовые самоубийства? Не один Гитлер с Евой Браун или Геббельс со своей семьей верили, что после смерти их души переселятся в новые тела...

Сдвинув мохнатые брови органиста,

Сева Уханов подносил ко рту рюмку с мерцающим в ней коньяком – и замолчал.

«Мой санта-Клаус! Мой добрый Санта-Клаус, защитивший недавно докторскую диссертацию, в которой буддизм переплелся с филологизмом! Ты, конечно же прав, – подумал Серёдкин. – Но лишь отчасти. Вот-вот. От части».

С этой фразы и начинался его разросшееся до размеров романа эпическое повествование. Григорий Серёдкин вынул из кармана длинного демисезонного пальто один из набросков своего так и неоконченного «дембельского рассказа» и, скомкав бумажку, бросил её в угол...

– Под зеленым колпаком ищем клады Нибелунгов, каждый – призрак и фантом, и потомок древних гуннов, – продекламировал он и шагнул сквозь стену, чтобы сразу обратиться к лёну, молитвенно тянущим ветви к куполу с православным крестом на пригорке, чуть в стороне от пересекающего реку железнодорожного моста.

16.

Санитар нагнулся и, подняв закатившийся в угол палаты бумажный шарик, стал читать, шевеля губами. «От части к готическому собору вел подземный ход. Мы наткнулись на него совершенно случайно. Сержант Безбородько был первым. Он отковырял каменную плиту в полу на полковой кухне – там начиналось подземелье. Опустившись в него, мы обнаружили скелет в истлевшей эсэсовской форме. Мумию обнимали останки двух других, ссохшиеся, обратившихся в мощи трупов. Судя по длинным волосам и платью, это были останки женщин. Рядом лежала чаша, валялась высохшая дохлая крыса. Страница развернутой книги была испещрена непонятными знаками. На картинке этой старинной книги был изображен юношаванг в средневековых одеждах и две обнимающие его прекрасных девы. В левой руке ванг держал куклу Санта-Клауса. Он как бы раздумывал, кому из них подарить талисман...»

* «Палки, камни, сломанные кости, бомбы, выстрелы вот и всё и там может быть что-то другое, что должно быть что-то еще, дайте мне подумать...» (англ.)

** Карфаген должен быть разрушен. (лат.)